

ПРЕСУИЦИДНОЕ СОСТОЯНИЕ У ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКА: НАРУШЕННЫЙ ОБРАЗ ТЕЛА И РОЛЬ ОТЦА

Н.К. АСАНОВА*

В статье рассматривается случай девочки-подростка, страдающей дисморфофобическим расстройством и склонностью к суициду. За целым рядом конкретных телесных симптомов пациентки автор видит блокированные бессознательные инцестуозные фантазии девочки, связанные с эдиповой констелляцией. Показано развитие интегративных процессов во внутреннем психическом пространстве пациентки, а также основные этапы этой внутренней трансформации в ходе анализа. Раскрывается перестройка психопатологической симптоматики – от конкретного уровня переживаний к более символическому по мере их вербальной переработки. Представлена динамика переноса на протяжении различных фаз анализа. Ключевым понятием, организующим работу аналитика, выступает фигура «Третьего» и «переменного третьего» в аналитическом процессе.

Случай, который я собираюсь здесь представить, поднимает как клинические, так и теоретические вопросы, имеющие отношение к суицидальному поведению подростков, включая роль в этом отца как объекта, необходимого для выживания ребенка и принятия им реальности. Мои представления сложились под влиянием работ Лауферов (*M.Lauffer & M.E.Lauffer*, 1984) и других современных психоаналитиков (*Blos*, 1967; *Haim*, 1974; *Sayers*, 1998; *Campbell*, 1999; *Chasseguet-Smirgel J.*, 2005), где предметом анализа выступали срывы развития в подростковом возрасте.

Суицидальные состояния объясняются сегодня большинством аналитиков с позиции внутреннего расщепления души и тела, при котором у подростков возникает неодолимое желание разрушить тело, переживаемое в своей отдельности от души. По мнению М. Лауфера, подростковый суицид

* *Асанова Нина Кузьминична* – канд. мед. наук, декан факультета психоанализа Института психоанализа, действительный член Московского общества психоаналитиков, прямой член Международной Психоаналитической Ассоциации.

обычно сопровождается навязчивыми состояниями, включающими переживания интенсивной ненависти и стремления к деструкции, направленной на свое, как бы, телесно выраженное желание инцеста. У таких подростков тело ведет себя «аутично» и оно «отказывается» от вербальной переработки бессознательных инцестуозных фантазий и страха, глубоко скрытого или исключенного из сознательного понимания (M.Lauffer, 1974).

Бессознательно, пишут Лауферы, молодые люди стремятся «увековечить отношение к самим себе и к собственному телу как асексуальному и неинцестуозному» (M.Lauffer & M.E.Lauffer, 1984). Они отмечают, что это нередко включает и мастурбационные фантазии, поддерживающие иллюзию асексуальности, выступающей в том, что юноша или девушка ощущают себя, каждый по-своему, ни мужчиной, ни женщиной, но как бы в обоих полах одновременно. Ненависть подростка обращается на свое измененное пубертатом сексуальное тело, его гомосексуальные, анально-мастурбаторные и другие регрессивные телесные потребности.

Пресуицидное состояние и суицидная фантазия

Большинство психоаналитиков, писавших на тему суицида, признают, что в понимании этого явления многим обязаны статье З. Фрейда «Печаль и меланхолия» (1917). Он заметил, что при меланхолии, наступающей после утраты значимого лица или «настоящего унижения или разочарования», причиной которого стал человек, вызывающий в субъекте сильные амбивалентные чувства, ненависть, первоначально испытываемую в его адрес, может быть впоследствии перенаправлена на ту часть Эго, которая в данный момент идентифицируется с этой личностью.

Склонный к суициду индивид рассматривает свое тело как отдельный объект; оно идентифицируется с утраченным, одновременно и любимым, и ненавистным человеком. Вместе с тем, расщепление Эго порождает у этих пациентов чрезвычайно критичное и карающее Суперэго, воспринимающее тело как отдельный, плохой и даже опасный объект. Суперэго начинает переживать подростком как враг или палач, живущий у него внутри и изнутри карающий его.

Некоторые аналитики описывали суицидальный акт как психотический или психотикоподобный эпизод, при котором Эго было переполнено деструктивными импульсами (Orgel, 1974; Campbell, 1999). Ряд авторов отмечали эмоциональное удовлетворение, которое человек испытывал от суицида, расценивая это состояние как регрессивную версию эдипальной мастурбации (Hurry, 1978), а Фенихель (1945) усматривал в суициде мазохистическую фантазию, где смерть приравнивается к оргазму.

В пресуицидном состоянии подросток находится под влиянием суицидной фантазии, основанной на отношениях его Я с телом и родитель-

скими фигурами (объектами). Эта фантазия далеко не всегда достигает степени осознанности, но при всех обстоятельствах она искажает реальность, имеет силу бредовой убежденности и является движущей силой суицидального поведения (Campbell, 1999).

Суицидная фантазия подростка часто описывается в контекстах нарциссического или симбиотического союза ребенка и родителя (прежде всего, матери). Иногда эта фантазия предстает в терминах «океанического стремления к соединению с матерью» (Фенихель, 1945), тотального слияния с объектом. Однако в других случаях, как и в том, который я собираюсь представить читателю, фантазия смерти выступает также способом выражения независимости подростка и становления его индивидуации (Blos, 1967; Hurry, 1978).

Как описывает Д. Кэмпбелл (1999), различные суицидные фантазии подростков организуются вокруг отношений между подлежащим уничтожению телом и «выжившей Самостью», остающейся жить в другом измерении, в бестелесном существовании, а также вокруг желания удовлетворить прегенитальные импульсы, в основном садомазохистского или орально-присоединяющего характера.

Суицидная фантазия представляет собой решение конфликта между желанием слиться с матерью, с одной стороны, и, с другой, последующими примитивными тревогами, связанными с уничтожением Самости. Проецируя ненавистную, поглощающую или покидающую первичную мать на тело, а затем убивая его, выжившая Самость получает свободу, для того чтобы слиться с отщепленной идеализированной, освобожденной от сексуальности, всецельно удовлетворяющей матерью, которая представляется как океан блаженства, вечный сон без сновидений, постоянное ощущение покоя, слияние с мирозданием или превращение в ничто (Orgel, 1974; Campbell, 1999; Chasseguet-Smirgel, 2005).

Роль отца в пресуицидном состоянии подростка

Известно, что истинное Я ребенка, чтобы выжить, не подвергнуться аннигиляции, не утратить телесных границ и чувства Собственного Я, нуждается в *третьем измерении*, представленном отцом и значимостью его личности в глазах матери. Отношения с отцом способствуют отделению ребенка от матери и его индивидуации.

Обычно суицидная фантазия возникает в условиях патологической связи ребенка с матерью и неспособности отца вмешаться в этот союз в результате либо его неучастия в жизни семьи, либо неэффективности его действий. Так или иначе, роль отца оказывается подорванной доминирующей в суицидной фантазии подростка связью с матерью.

К такому итогу семья приходит в случаях раннего распада триадных отношений, когда ребенок захватывается матерью избыточно нарциссическим образом, то есть она присваивает ребенка себе, манипулируя им в своих интересах, отрицая и уничтожая любые следы присутствия отца. К. Эльячэф и Н. Эйниш (2006) обозначают такую пару, возникшую на основе исключения третьего, термином «*платонический инцест*».

Как указывает П.-К. Рекамье (2005), отец здесь лишается своей функции защитника ребенка от симбиоза с матерью. Она интернализирует пенис отца, воплощая собой «*комбинированного родителя*», оставаясь при этом фаллической, всемогущей, нарциссически совершенной матерью, имеющей все и несущей наследие предыдущих поколений.

Но именно в пресуицидном состоянии невмешательство отца в патологическую симбиотическую связь матери и ребенка приобретает критическое значение. Это проявляется в двух отношениях: 1) в способности (или неспособности) отца заявить права на своего ребенка и принять на себя долю ответственности за него и 2) в его влиянии на ориентацию ребенка во времени (Campbell, 1999; M.Laufner & M.E.Laufner, 1984).

Одно из важных предназначений президпального отца, как известно, – представлять мир, который находится за пределами исключительной связи матери с младенцем, – реальность «времени и места». В пресуицидном состоянии подростки, находящиеся в психоаналитической ситуации (как было и в описываемом мною случае), воспринимают частоту сессий, определенность времени их начала и конца как символ навязываемых отцом временных ограничений. В другие периоды психоаналитической терапии это часто воспринимается совсем иначе. Но в пресуицидном состоянии пропуски сессий, опоздания, трудности при окончании сессии представляются проявлением недостаточности временной реальности и отражением в действии в ситуации «здесь и сейчас» опыта отца, неспособного предоставить убедительную альтернативу желанию подростка слиться с матерью в безвременном состоянии.

Логика психоаналитической работы и основные понятия

В рассматриваемом нами случае срыв поддерживающей функции отца, его фактический отказ от роли регулирующего *третьего*, неспособность заявить свои права на жену и ребенка послужили толчком к возникновению сильной регрессивной тяги девочки-подростка к слиянию с матерью, а затем и ее желания умереть.

Представляя данный случай, я пыталась показать, как в ходе психоаналитической терапии шло развитие интегративных процессов во внут-

реннем психическом пространстве девочки, а также отразить основные этапы этой внутренней трансформации. Имеются в виду, прежде всего, принятие подростком собственной реальности и своего относительно автономного существования, отдельного от родительских объектов. По мере того, как в процессе анализа внутренней «третий» появлялся в ее репрезентациях, шел процесс триангуляции и триадификации.

На этом фоне наблюдалась трансформация и психопатологической симптоматики, замкнутой в телесных симптомах дисморфофобического расстройства и в суицидальных тенденциях, – от конкретного уровня переживаний к более символическому, при их вербальной проработке. При этом происходило освобождение внутренней боли в рамках эмоционально значимых переживаний, что выражалось в переносе посредством рисунков и речи. Основной «мишенью» аналитика была ненависть девочки по отношению к родительской сексуальности и к своему искаженному образу тела, сопровождаемая навязчивым деструктивным желанием «отрезать» отдельные телесные части.

Бессознательные инцестуозные фантазии девочки, связанные, главным образом, с эдиповой констелляцией, поначалу казались заблокированными, выступая в виде конкретных телесных симптомов. Я попыталась показать, как, по мере *воскрешения из «мертвых» Третьего* на психоаналитической сцене, телесная симптоматика трансформировалась из «*вещи в себе*» в *живое, вербально символизируемое переживание*.

Осмысливая случай, я нашла полезными теоретические соображения Андре Грина. Он говорил о «триангулярной структуре с *переменным третьим*» (Kohon, 2001) как бессознательной конструкции, генерированной «*интерсубъективным аналитическим третьим*» (Ogden, 2001). Последний понимается как *третий объект*, созданный бессознательным взаимодействием аналитика и анализанда. А. Грин подчеркивает, что «структура отношения при этом является триангулярной, хотя это не значит, что данная структура эдипальная; это – третье отношение, в котором реально присутствуют два объекта. Третьим может быть, например, искусство. Но аналитику важно помнить, что третий всегда присутствует «здесь и сейчас», и он всегда заменяем» (Kohon, 2001, с. 53).

Хотя в начале анализа «*внутренний третий*» в объектных отношениях девочки отсутствовал, его «следы» обнаруживались всюду, находясь при этом в состоянии взаимозаменяемости. Это могло быть тело или части тела пациентки, какое-нибудь особое слово, рисунки и картины, которые она использовала, чтобы выразить себя. Постепенно появлялся «*аналитический третий*», затем началась его трансформация в отношениях переноса и контрпереноса.

История болезни: Марина

Марина пришла ко мне в 16 лет по рекомендации моей коллеги-психиатра в связи с дисморфофобическим расстройством, переживаниями интенсивной ненависти к своей внешности и упорными суицидальными тенденциями, когда другие попытки ее лечения, включая психотропные средства, оказались безуспешными. Девочка училась в 10 классе обычной школы.

Она была навязчиво озабочена формой своего носа, похожего на нос отца, и глазами, которые «выбухают», причиняя ей неудобство. У нее случались панические атаки; внезапно могла появиться сыпь на теле, лицо и руки покрывались красными пятнами. Она обращалась к аллергологам, а также к хирургам по поводу пластической операции, чтобы удалить горбинку на носу. Она постоянно носила темные очки от солнца и пластырь на носу.

Как раскрылось позднее, сексуальность играла большую роль в симптомах Марины. Ее телесные симптомы, «выбухающие» глаза и нос, который, как деформированный пенис, необходимо было скрыть, могли быть связаны с понятием «комбинированного объекта»¹, введенным М.Кляйн (1923, 1929). Как раскрылось позднее в анализе, *ее глаза стали невольными свидетелями преследующей ее картины: фантазии родителей, замерших в бесконечном сексуальном слиянии.*

Важно рассказать эпизод, о котором вспоминала Марина. Когда она училась в девятом классе, семья попала в автоаварию, по невнимательности отца, но пострадала только мать. Марина неоднократно обращалась к этому воспоминанию и однажды призналась: «...я чувствовала себя ужасно виновной и молила Бога не наказывать меня».

Уже в этом эпизоде начинает проступать на очень конкретном уровне *срыв поддерживающей функции отца*. И также на очень конкретном уровне – чувства девочки относительно *родительской сексуальности*, сопровождаемые одновременным переживанием *соперничества с матерью и вины*.

Она была единственным ребенком в семье интеллигентных родителей, но оба хотели мальчика, и свое появление на свет Марина воспринимала как разочарование для них. Чувство одиночества проходит через все ее детство, от которого осталось общее ощущение, что «матери либо не было дома, либо она всегда спала».

Отца она описывала как красивого, высокого мужчину со светло-голубыми глазами, спортивной фигурой. Он страдал алкоголизмом, когда она была ребенком. Мать в ее глазах представляла как привлекательная, но холодная, доминирующая и в то же время – депрессивная и чрезвы-

¹ Понятие «комбинированного объекта» введено М.Кляйн (1923, 1929). В фантазии о комбинированной родительской фигуре родителя, или, скорее, их гениталии, как частичные объекты, сцеплены в непрерывном соитии, загрязненном чувствами ненависти и зависти, по очереди проецирующим персекуторные и параноидные тревоги. Это самая ранняя и примитивная фантазия об эдипальной ситуации (Хиншевулд, 2007, с.330).

чайно тревожная женщина. Она эгоистично и ревностно держала девочку вдали от отца, все больше привязывая ее к себе и используя ее под углом зрения собственных потребностей.

В возрасте четырех лет девочку поместили в детский сад, она чувствовала себя там одиноко, и когда наступал «мертвый час» и детей укладывали спать, мысленно играла в «мертвую царевну». Она закрывала глаза, делая вид, что умерла. Потом сама же воскрешала себя, воображая, как приходит принц, целует ее, и она оживает. Она никогда не знала, в какое время мать заберет ее из детского сада, и сколько времени придется сидеть в ожидании ее.

Девочка была свидетелем родительских ссор – как они сидели на кухне, и отец угрожал матери. Она чувствовала, что должна оберегать мать и быть готовой ее спасти. Когда Марине было шесть лет, мать пыталась лишить себя жизни, наглотившись лекарств, после чего лежала в больнице.

Марина наблюдала все большее отдаление матери от отца. Погруженная в себя, мать никогда не пыталась приласкать дочку, не оказывала ей эмоциональной поддержки, не пыталась успокоить ее, преждевременно ожидая от девочки ответственности, но в то же время жестоко сердилась, когда та проявляла независимость. Мама воздавала *себе* хвалу за хорошие качества дочери и публично унижала ее за недостатки. Но особенно доставалось отцу, которого она критиковала и унижала в его отсутствие.

Когда Марине исполнилось десять лет, родители развелись, но продолжали жить в одной квартире, и о том, что их брак распался, дочь узнала много позже, когда достигла своего пятнадцатилетия. Она чувствовала, что ее предали и окончательно отвергли.

До девяти-десяти лет Марина спала в одной постели с матерью. Отца видела редко. Он пользовался всеобщим уважением, занимая ответственный пост, и часто пропадал на работе.

В школе Марина всегда была одной из лучших учениц. Свое одиночество она заполняла чтением книг, поэзией, музыкой. Когда девочка перешла в другую школу, то не сразу привыкла к новой обстановке и чувствовала себя в новом классе потерянной и чужой. Она приспособилась, приняв популярное «ложное Я», всегда готовое выслушать чужие проблемы и остающееся крепко запертым изнутри. В это время ее охватило разочарование в своей внешности: она «терпеть не могла» свое лицо, расквыривала его, после чего еще сильнее ощущала свою «некрасивость». В компании иногда употребляла алкоголь. Будучи пьяной, плакала, чувствовала жалость к себе, а при возвращении домой – стыд.

В начале нового учебного года Марина призналась отцу, что «мечтает покончить с собой» и нуждается в аналитике. Отец шутливо прореагировал на это заявление и посоветовал ей «больше общаться с товарищами». Через неделю девочка пошла на вечеринку. Там все разбили на пары, и она почувствовала себя лишней. Тихо ушла. Зайдя в аптеку, ку-

пила большую упаковку аспирина и пошла к подруге. Ей хотелось умереть. В ванной комнате у подруги она приняла половину таблеток, потом отправилась домой и там приняла остальные. Она почувствовала спокойствие, думая, что, заснув, больше не проснется. Проснувшись через некоторое время, почувствовала себя очень плохо, испугалась и вызвала скорую помощь. Так она попала в больницу.

Начало анализа

Марина – привлекательная девочка-блондинка, с приятными чертами, высокая, тонкая, с длинными волосами. Когда она впервые появилась у меня, ее лицо прикрывали темные солнечные очки и пластырь на носу. Она села в кресло напротив и, полностью наклонившись в мою сторону, неожиданно выпалила: «Я не могу больше ждать. Я боюсь, что буду преувеличивать!». Потом села, сильно вжавшись в кресло, с локтями, выдвинутыми вперед, кулаки сжаты. Чувствовалось, что она очень сильно напряжена и тревожна. И я увидела в ней уязвимого, испуганного ребенка, боящегося как собственной агрессии, так и атаки извне.

Она поведала о трудностях в отношениях с родителями, жаловалась на подавленное настроение, чувство беспомощности. Родители казались ей «идеальными, но малодоступными». Она также хотела быть «идеальной» дочерью для них и надеялась, что я помогу ей в этом. Свою маму она считала бесконечно совершенной женщиной, хотела быть на нее похожей, но чувствовала, что ей никогда «не дотянуться до такой планки». Было очевидно, что, говоря о матери, она переживала какое-то внутреннее противоречие.

На *второй сессии* Марина обратилась к темной стороне своей матери. «Она фальшива... В ней все искусственное, ногти, лицо... Ее никогда не интересовало, что со мной... Только внешность... “Твое лицо, твое тело, твои волосы – все мое... Не хмурься, будут морщины...” Ее всегда заботило только одно, – что другие подумают обо мне...»

Высказав все это, Марина замолчала, испытующе глядя на меня, затем потрогала пальцем кончик носа. Она как бы уверяла себя, что меня, в отличие от матери, как раз в большей степени интересуют ее тревоги, а не ее внешность, «морщины» или этот пластырь на носу. И я подумала, что, вероятно, «пластырь» означает то, что стало запретным знанием для маленькой девочки, и что нам предстоит раскрыть.

Позднее Марина призналась в главном, что она ожидает от меня спасения от «необычайной тяги к смерти», но что в то же время ей хочется «узнать переживания смерти». Она процитировала мне строчки из своего дневника: «Женщина замечательна. Моя мечта – быть мертвой. Мертвое тело божественно... Оно надевает улыбку совершенства...» Ее мысли

о суициде были мольбой о помощи и отчаянным предпрятием, подобным азартной игре, в которой я должна была спасти ее от самой себя.

Она рассказала, что в тот роковой вечер, вернувшись после вечеринки домой, она впала в «состояние зомби». Ей хотелось поговорить с кем-нибудь, но никого не было. Выпив таблетки, она стала ждать смерти. И хотя она думала, что умрет, но ожидала, что другая ее часть, не затронутая смертью тела, останется жить в бестелесной форме, растворившись в мироздании.

Я ощущала сильное давление на себя и чувствовала, что должна сдерживать огромную тревогу ее родителей. Я понимающе сказала Марине, что она хочет, чтобы я помогла ей справиться с пугающими ее мыслями о желании умереть, и я буду стараться помочь ей в этом.

Элемент «преувеличения» с самого начала весьма ощутимо присутствовал в анализе Марины, что заставило меня вспомнить первых истерических пациенток Фрейда. Я также пришла к мысли, что Марина испытывает перенос на меня в качестве реакции на неудачу предыдущей терапии, и это укрепляет ее в мыслях, что здесь нет никого, кто бы устоял перед ее интенсивными и разрывающими душу чувствами.

Передо мной встали вопросы: Как должно протекать наше общее психоаналитическое исследование, чтобы оно было посвящено поиску отца в ее душе, что мне представлялось очень важным? Как происходило формирование половой и сексуальной идентичности девочки в обстоятельствах, при которых отец всегда отсутствовал, хотя она знала, что он жив, а для матери дочь всегда выступала не более, чем ее нарциссическим продолжением? Как внутренняя запутанная драма девочки-подростка будет разворачиваться в аналитическом процессе?

Теперь Марина представлялась мне, скорее, *нарциссической пациенткой сложной личностной организации*. Мы начали работу лицом к лицу. Что касается участия в анализе родителей, я решила твердо следовать ориентации на индивидуальные формы психотерапии, что считается предпочтительным в анализе подростков, о чем и было им сообщено. И, надо сказать, я ни разу не почувствовала с их стороны желания нарушить нашу договоренность и вмешаться в аналитический процесс, продолжавшийся на протяжении шести лет с регулярными встречами четыре раза в неделю.

Первые фазы анализа

В начальной фазе Марина как будто использовала анализ, чтобы эвакуировать в меня весь клубок своих ощущений, фантазий, мыслей, которые были для нее наиболее тягостны и невыносимы. Первые недели характеризовались массивным отреагированием. Она звонила между сессиями, чтобы передать мне свое ощущение душевной катастрофы. Дома

все свое время проводила в комнате, периодически подходя к зеркалу и разглядывая лицо.

Хотя девочка выглядела симпатичной, стыд, который она испытывала по своему поводу, и ненависть к своему телу были очевидны. Она входила и выходила из кабинета быстро, отворачивая и опуская лицо; сидела, сжавшись в комочек, как будто старалась укрыться в скорлупке, глядя на меня мрачно и напряженно. Походка у нее была, как у маленькой девочки, и при этом слегка деревянной.

Я чувствовала, что необходимо не только понимать и сдерживать тревоги Марины, но и защищать аналитический сеттинг. Он мог стать общим инструментом для нашей работы, в виду его, как я бы в данном случае определила, «родительской» функции, проявляющейся в установлении границ, барьеров, расширении и укреплении пространства сдерживания. Эти присущие сеттингу свойства могли помочь Марине интроецировать некоторые из продвигающих ее развитие качеств, таких как терпение, способность преодолевать себя, ощущение самоконтроля и своей внутренней силы, чувство «хорошести» самой себя. Эти задачи потребовали ввести четвертую сессию с самого начала дополнительно к условленным трем.

В это время психотические тревоги, страх потери своей идентичности вышли у Марины на передний план. Она переедала; иногда, особенно в выходные дни, употребляла спиртное, чтобы заполнить внутреннюю пустоту и атаковать свою сексуальность. Выяснилось, что она считала тело местом нахождения всех своих жадных, деструктивных, в том числе и сексуальных инстинктов, переживала его как бесформенное и грязное. Убийство своего тела она рассматривала в качестве единственного способа избавиться от всей этой «грязи». В то время как родители безоговорочно приняли мое предложение о четвертой сессии, Марина реагировала на это возрастанием психотических тревог. Она многозначительно объявила, что аллерголог нашел у нее реакции на *сорняки*.

Я предположила, что сорняки имеют отношение к увеличению частоты сессий и к моим словам, которые, как она чувствует, переполняют ее чем-то плохим.

Она тут же вспомнила свои эротизированные детские переживания, связанные с матерью, пытающейся целовать ее в рот, и с отцом, наблюдавшим за ней, когда ребенком она принимала ванну. Хотя на рациональном уровне четвертая сессия (см. выше) была для Марины знаком, что она «сумасшедшая», в отношениях переноса это переживалось как попытка соблазнить ее.

Все звенья, которые я пыталась установить между ее «выбухающими» глазами и какой-то пугающей фантазией, которую она была не в со-

стоянии переносить, разрушались. Конкретный уровень переживаний становился достаточно острым. Она жаловалась на ощущение «песка в глазах». Ей казалось, что слизистая глаз повреждена, и нет ничего, что могло бы облегчить эту боль.

Кажется, Марина была в ужасе от самой возможности, что анализ может помочь ей «открыть глаза» на то, что в действительности происходило с нею. Слова аналитика были как «песок» в ее глазах, нарушающий все наше взаимодействие: если я говорю, мои слова повреждают; если не говорю, я бесполезна. Песок – это то, что наполняло ее эдипальными тревогами, «переменный третий», возникающий между нами.

Казалось, она воспринимает мои слова как конкретные объекты, способные обернуться опасным оружием. И я задумалась над тем, какую роль могли играть слова в психике маленькой девочки. В интерпретациях они подталкивали к отделению от родителей, к самостоятельности, выступая тем самым воплощением отцовской силы и его присутствия, как защиты от «чар матери». Слова, которые приходят на смену довербальному «архаичному языку», можно рассматривать как синтез «материнского» и «отцовского» миров. Можно думать, что они неразрывно связаны с бессознательной бисексуальной фантазией.

Вся эта цепочка означающих высветила наличие у Марины некоторых классических инфантильных фантазий. Но я воздерживалась от их интерпретации, поскольку чувствовала, что главный страх Марины в этот момент сконцентрировался вокруг символических эквивалентов, в которых смешались словесные и предметные представления. Ей трудно было использовать слова для выражения «грязных», «фекальных» мыслей, и я обратила внимание на этот ее страх – перед словами. Я предложила ей рассказать мне больше о том, что может стоять за этим страхом.

Тут она зажмурилась, закрыла руками уши, как будто встретилась с кошмаром безымянного ужаса. Когда же она снова обрела способность говорить, то есть находить слова и психические представления для выражения своего ужаса, то вспомнила, как, будучи ребенком, удерживала фекалии, находясь в детском саду, а дома «все делала в штаны», и ее грязные трусики выставлялись матерью на обозрение отцу. Она чувствовала себя грязной, отвратительной и безмерно униженной. Мать произносила оскорбительные слова, а отец молчал.

Так «мертвый» внутренний отец стал возрождаться на психоаналитической сцене. Стало ясно, что в ее переживаниях фекальный эротизм и анальная агрессия играли существенную роль. Фекальная фантазия была связана эротически и садистски с гомосексуальной привязанностью к матери, что находило выражение в энкопрезе. Много позже мы

смогли реконструировать, что на одном уровне фекалии бессознательно представляли собой своего рода «заменитель» пениса, который она «помещала» между собой и матерью. На другом уровне это ее «изобретение» служило догенитальным сексуальным удовольствием, тайно разделяемым с матерью в качестве избранного сексуального партнера.

Первый и единственный сон, приснившийся в это время: *«Мать лежит на камне, сметенная водопадом. А бабушка в это время держит в руках мои трусики».*

Сон иллюстрирует страх Марины, что я, как ее аналитик, могу быть переполнена и «сметена» водопадом ее интенсивных эмоций. Бабушка, держащая в руках трусики, также может быть связана с моей функцией контейнирования ее тревог и, более того, *принятия* ее фантазии о моей сексуальности, сексуальности родителей, с которыми она чувствует себя исключенной.

Мать

Процесс переноса развивался интенсивно. Это проявилось остро через четыре месяца анализа в связи с неизбежностью *нашей первой разлуки сроком на неделю*. Марина испытала *панический страх*, что будет *разрушена* мной. В переносе воссоздавался архаический образ ее матери, всемогущей, вездесущей, готовой поглотить ее. Ассоциации пациентки сосредоточились на ощущении, что мать с детства преследует ее своей всепоглощающей «чернотой». И в переносе она чувствовала это как возникшую *мертвость* между нами. Она вспомнила слова матери, которая однажды призналась ей: *«Когда ты родилась, я умерла»*. Марина вспомнила свое чувство вины перед ней. Ей казалось, что «мать точно заживо похоронила себя внутри нее, дав ей жизнь». Она похоронила свою эмоциональность, чувственность, нежность, а остались только строгость, суровость, холодность и печаль.

В эти дни она принесла *«смертельный»* (ее определение) сон: *«Я сплю в своей комнате, просыпаюсь, выхожу из комнаты, а сзади вижу мать в красном халате. Я обращаюсь к ней и вижу, что это смерть. Я пытаюсь убежать и понимаю, что она преследует меня. Я бегу в комнату, и это все»*. В ассоциациях прояснилось, что «комната» была связана с аналитиком и с анализом, где она нашла убежище, спасение, но где, тем не менее, особого ощущения безопасности не было.

Постепенно Марина воспроизводила все больше трагических эпизодов из своей жизни. Она вспоминала свои детские фотографии, и ей казалось, что они пропитаны холодом, как будто в душе ее навсегда поселилось ледяное ядро, она – «мертвая царевна» и рядом «снежная королева-мать». Она уже могла говорить свободнее, но я воздерживалась от

интерпретаций, пытаясь создать как можно больше безопасного пространства для выражения ее чувств.

Вслед за этой фазой анализа появились фантазии слияния, желание взаимности со мной, как в контакте «матери и младенца». Она была, как младенец, открывший «грудь-вселенную», с которой начался период «канибальской» любви, где эротические и садистские стремления слиты воедино. Фантазия о себе как младенце родила ощущение, что она находилась как бы в «черной дыре» в связи с депрессией матери. «Черная дыра» служила для нее метафорой, смысл которой – убийство всех чувств: «нельзя любить, нельзя ненавидеть». Так она и живет жизнью матери – без души, без чувств. Ходит в школу, иногда как-то развлекается, но «сердце ни к чему не лежит», там «дыра».

Эта «черная дыра» была, главным образом, «дырой» в ее объектных отношениях, о чем говорил А. Грин в своем описании комплекса «мертвой матери» вследствие *дезинвестиции* материнского объекта и бессознательной *идентификации* с «мертвой матерью»².

У нее легко возникало чувство ярости по отношению к матери как к опасной и деструктивной интроекции, но это не давало ей признать собственные деструктивные желания. Она была такой же пустой, «заполненной чернотой», как и аналитик, для которого предназначались ее чувства. Она не решалась говорить открыто об агрессии ко мне, однако вспомнила эпизод, произошедший за год до анализа, когда мать ударила ее по лицу, и дочь в ответ на это произнесла: «Я хочу, чтоб ты умерла». В контрпереносе я отчетливо ощущала, что она испытывает нечто подобное ко мне.

Через полгода она принесла новый сон: «*Мы лежим в постели с вами, и вы обнимаете меня со спины*». Она впервые открыто говорила о своих гомосексуальных чувствах к матери, когда, лежа с ней в постели, хотела бы любить мать так, как любил ее отец. Однако она любила мать и так, как любят мужчину: боялась и ненавидела ее за то, что мать не давала ей любви, бросала и отвергала ее. И она чувствовала себя неуклюжей, «как деревяшка», обиженной девочкой, потому что росла покинутой матерью, и эта неуклюжесть была внутри нее.

Объектом, с которым Марина идентифицировала свое тело, была отказывающая, оскорбляющая мать, не сумевшая сексуально удержать отца

² Метафора «мертвая мать» предложена А.Грином. «Мертвая мать... вопреки тому, что можно было бы ожидать, – это мать, которая остается в живых, – пишет он, – но в глазах маленького ребенка, о котором она заботится, она, так сказать, мертва психически» (А. Грин, 2005, с. 333). «Мертвая мать» – это своего рода имаго, поясняет автор, которое складывается в душе ребенка вследствие материнской депрессии, превращающей ее в «удаленную атоничную, почти безжизненную фигуру» (*там же*).

Марины; мать, тоже желавшая убить свое тело. Перед летними каникулами Марина описала свою идентификацию с матерью. Прежде, чем начать говорить, она некоторое время молчала, о чем-то плача. Потом, сморкаясь и утирая слезы, прерывисто произнесла, что «заключена, как в ловушку, в свое желание умереть». Внутри ее тела была «мертвая мать», «мертвая Марина». Она вспомнила о Марине Цветаевой, любимой поэтессе матери, имя которой носила, и припомнила строчку из ее стихов, где о смерти говорилось как о предназначении: «предназначение – умереть».

И тут я почувствовала в контрпереносе, как будто я встретила привидение в психоаналитическом путешествии Марины. Странное молчание, окружавшее образ ее отца, его невидимое, отстраненное существование, сотворенное в психике маленькой девочки ее матерью, продолжалось и на психоаналитической сцене. Отец оказался исключен в его как реальной, так и символической роли. И я ощутила себя «плохой» матерью, которая не помогает дочери выбраться из пуганицы пугающих инцестуозных фантазий, не объясняет, как обратиться к отцу за поддержкой и защитой.

И я сказала, что она как будто «окружена сейчас привидениями здесь, со мной». В ответ Марина рассказала о своих детских страхах привидений. И рассказывая об этом, она выглядела как возбужденная и испуганная маленькая девочка, ожидающая, что привидение восстанет из могилы.

Идентификация с «мертвой матерью» была полной. Она была окружена желаниями убить и себя и родителей, но ее родители молчали. Марина верила, что, освободившись от своей «мертвой матери» и жадного, деструктивного, гомосексуального тела, она, наконец, будет принята и обретет безопасность рядом с хорошей, асексуальной матерью. Ее фраза: «Я всего один раз чувствовала себя в безопасности с мамой, когда она навестила меня в больнице».

Нарциссическая регрессия, доминировавшая в состоянии Марины, поддерживалась перспективой садистской мести по отношению к матери и осуществления суицидной фантазии слияния с нею. Девочка говорила об *успокаивающем действии*, которое желание покончить с собой оказывает на нее. Она уже не казалась *пассивной жертвой* прегенитальных желаний, гетеросексуальных страхов, депрессии и отвергающих родителей. Ее желание самоубийства позволяло ей проявить *активность*, хотя бы самодеструктивную, и удовлетворяло ее потребность быть отдельной и независимой.

Отец

Нападение Марины на свое тело имело также и другую цель – заставить отца почувствовать вину. Хотя ее суицидная фантазия была организована вокруг воображаемого несексуального союза с матерью, первичным объектом в пресуицидном состоянии выступал отец.

Марина вспомнила, как она кричала на мать. Она опять расплакалась, описывая свою беспомощность и страх. «Если бы только папа был рядом, все было бы хорошо». Но отца не было. Она вновь компульсивно выразила свое желание, чтобы отец защитил ее от пугающе отчужденной матери и свой гнев в связи с его неспособностью это сделать. Отец мог спасти ее от конфликта с этой «мертвой деревяшкой» – матерью, но он был отстранен, недоступен, отдавая большую часть времени работе. Он был «глух» к ней.

Я чувствовала необходимость проявить к Марине эмпатию в рамках *переноса отца, способного заявить свое право на ребенка, отца*, который бы выступил как *доэдипальный соперник* матери. Я понимала, что бессознательно Марина пытается включить меня в свой суицидный сценарий, где я играла бы роль отца, но отца, который *не встал* на пути ее регрессивной тяги к слиянию с матерью. Марина выразила это, когда сказала, что «поймана, как в ловушку, в желание умереть». В переносе она обратила это свое переживание отцовской отстраненности, *превратив меня в «привидение»* (в переносе – отца), *и пропустив сессию*. Она как бы активно покидала меня, чтобы вернуться к идеализированной матери.

Я знала, как мало любви и внимания было в ее детстве. И на следующей сессии сказала ей об этом, о ее глубоком чувстве одиночества и печали, – она дала мне знать, что тронута моими словами и чувствует себя поддержанной, защищенной.

На психоаналитической сцене *образ внутреннего отца* медленно оживал, мобилизуя движение мысли и фантазии при своем пробуждении.

У Марины появились силы к развитию творческих способностей. Она начала ссылаться на карандашные рисунки, которые пыталась делать дома, когда чувствовала тревогу. Она приносила эти рисунки на сессии, я клала их на стол между нами, мы могли смотреть на них, говорить о них, а в конце сессии я возвращала их ей.

В этот период она конкретно использовала свои рисунки, а позднее и картины, чтобы выразить себя. Я могла донести ей, что наиболее важная часть их значения для нас это проработка эмоциональных элементов, выраженных в них. Они были *«третьим»*, связывающим нас и находящимся между нами. Пока это были просто *замены* эмоциональных переживаний, которые принадлежат ей и которые она медленно раскрывает и прорабатывает в отношениях со мной. Но потом они могли стать *символами*.

Первые ее рисунки представляли очень странные фигуры – изуродованные лица, искаженные тела. Акцент делался на гениталиях; лица всегда были без глаз и с дырами вместо рта. Вначале Марина держала их в руках, не решаясь показывать мне и говоря, что «ей стыдно». И мы могли про-

должать работу только после того, как я интерпретировала ее страх, видя его причину в ее фантазиях о моей сексуальности и сексуальности родителей – фантазиях, переживаемых ею как насильственные и грязные.

Анальный компонент занимал ведущее место в ее творчестве. Она приносила мне рисунки, как фекалии из детского сада. Выставляя их передо мной, она каждый раз испытывала страх, считая их «порнографией». Это было сродни анальному преступлению или ее испачканным детским трусикам, выставленным напоказ. Все эти чувства открыли перед нами возможность говорить о ее спутанности в отношении различных частей своего тела и их функций, о родительских телах, о ее злобных, агрессивных чувствах, значение которых остается для нее скрытым. Постепенно, благодаря ее творчеству, мы могли «познавать» «ужасающий» ее мир, исследовать ее бисексуальные фантазии и фантазии о «первосцене» в их архаичной форме.

Попутно ее интересы сместились к изобразительным техникам, она была очарована художником Мунком. И произошла разительная трансформация в ее творчестве: теперь ландшафты заняли место прежних, таких больших образов.

Думаю, все это свидетельствовало о том, что в ее развитии произошел шаг вперед, выразившийся в эволюции от фрагментарных и расщепленных состояний мышления, где внутренняя триада склонялась к распаду, к более интегрированному состоянию, как на вербальном, так и на символическом уровне. Ее творчество было оплодотворено нарциссической и гомосексуальной фантазией. Она была и мужчиной, и женщиной одновременно, обладая творческой силой матери и потенцией отцовского пениса. Это было *пространство, в котором она уже могла переживать свои отношения с «третьим»*.

Поиск «палача»

Когда в переносе ожил распавшийся брак родителей, Марина перестала платить за анализ, стараясь форсировать то, чего она боялась: чтобы я тоже покинула ее, как эмоционально покидали мать и отец. Она намеренно провоцировала меня, чтобы я прекратила встречаться с нею.

Критический момент в пресуицидной фазе – это провокация пациентом некоего «палача», человека, которого потом можно будет считать ответственным за свою смерть (Campbell, 1999). Неоплата сессий выступала попыткой Марины заставить меня сыграть эту роль. Подобным образом, она могла вновь разыграть, уже в рамках переноса, отвержение ее со стороны отца (когда он превратил в шутку ее обращение к нему за помощью), что оправдало бы ее суицидальную попытку.

Реакция на разлуку перед летними каникулами была очень болезненной. В ходе сессии Марина ассоциативно пришла от сознательного желания убить себя к сновидению, в котором я смеюсь над ней и прогоняю ее. Я чувствовала тревогу по поводу ее пресуицидного состояния, понимая, что она еще не способна использовать мои интерпретации. В сессии она демонстрировала передо мной свое состояние, как ранее показывала отцу пораненное лицо, чтобы заставить его почувствовать вину.

Во время перерыва желание юной пациентки «напасть» на меня («отца» в переносе) посредством суицида едва не осуществилось. Она подвергла свою жизнь неоправданному риску, проехав на велосипеде непосредственно перед поворачивающим автомобилем. Вначале она решила ничего не говорить об этом происшествии родителям, но затем передумала. Она хотела, чтобы отец увидел ее израненное лицо.

Центральная фаза анализа: динамика отношений переноса

Этот период работы характеризовался углублением отношений переноса и возрастанием способности Марины вербализовать свои чувства и работать с инфантильными конфликтами. После летнего отдыха на первую сессию она пришла с заплетенными косичками, в широкополой шляпе и широких штанах. Она чувствовала, что ей хочется быть привлекающей внимание, соблазнительной и милой маленькой девочкой. Пластырь на носу и темные очки отсутствовали, в чем я увидела определенный шаг к независимости. К этим переменам она пришла самостоятельно, не тогда, когда мы были вместе, а в период моего отсутствия. И это уже было наглядным проявлением динамического процесса, означавшего, что *репрезентация чего-то отсутствующего приведена в действие между нами*. Оставалось перевести это изменение на некий символический уровень.

Марина рассказала мне о том, как проехала перед автомобилем, чтобы «показать всем». Она призналась, что думала обо мне, старалась предугадать мою реакцию, и теперь удивлена, что я не в шоке от ее выходки. В течение недели она регулярно опаздывала на сессии. Ее не оставляло желание проверить меня, «подразнить, поиграть в прятки» и, в знак протеста, молчать там, где надо было говорить. Она расщепляла меня на «хорошую мать» и «плохую». Она не переставала ждать наказания с моей стороны и, видя мое спокойное лицо, говорила, что, в случае ее позднего возвращения домой, мать обычно открывала дверь молча, с каменным лицом, заставляя дочь испытывать не только вину и стыд, но одновременно и гнев. Она хотела болезненных и садистических интерпретаций от меня.

Сон в это время: «Сантехник исследовал ее туалет и высказал неодобрение по поводу состояния водосточной трубы». Наконец, «сантехник» (отец) появился на психоаналитической сцене, пусть пока в примитивной форме, но уже забрезжила возможность схватиться за отца, его железный фаллос, что в принципе может спасти жизнь, спасти от поглощения матерью. По контрасту, сама Марина в этом сне выступала в роли «восстанавливающего мусорщика», достающего из ящика выброшенные одежды младенцев. Но то был не простой мусорщик. Во сне фигурировали младенцы, спасенные им, и Марина любовно их мыла, «лечила», восстанавливала. Один из этих младенцев – девочка – был ею самой, собственной персоной. И, конечно, это был младенец, *родившийся в наших отношениях*, где она занимала место *ребенка как третьего*.

Все это красноречиво свидетельствовало о подвижных изменениях, происходивших в ее внутреннем мире. Ранняя триада «отец-мать-ребенок» возникла на психоаналитической сцене в живых взаимодействиях.

Итак, в ее сновидениях появился младенец и младенцы, за которыми она присматривала. Они были хорошо ухожены и довольны. Все, в чем они нуждались, – смена мокрых пеленок. Другими словами, дальнейшее внимание призывалось, главным образом, к ее потребности эвакуировать свои чувства и мысли, или к ее анальной агрессии.

Через три месяца она принесла еще один сон: «Я звоню в центр, там мужчина-аналитик. Мне говорят, что он занят, и что он – зубной врач». Она стала чувствовать, что приход ко мне подобен визиту к зубному врачу. Теперь она стала воспринимать мой образ как сочетанный образ «женщины-мужчины/матери-отца».

В отношении ко мне проявлялась амбивалентность: идеализация сменялась обесцениванием. Был сон, где она буквально *отдавала свою жизнь* в мои руки, как в сказке. Это был ужас для нее – ее жизнь в моих руках, и вновь – зависимость.

В доэдипальных терминах ее переживания можно описать как орально-эротические, орально-«пожирательные» фантазии, страх утраты чувства идентичности, страх растворения, утраты телесных границ. В ее внутреннем мире любовь и ненависть сливались в динамическом потоке. Сексуальные или любовные отношения «уравнивались» с поглощением, кастрацией, уничтожением или смертью. Она легко склонялась к депрессии, чувствуя невозможность получить то, что хотела, переживая чувство *зависти* к «хорошей части» меня и желая полного обладания мною.

Вербализация этих первичных желаний и архаический ужас, который они возбуждали, играли важную роль в психических изменениях, которые происходили по мере анализа восстановленных фантазий. Она

переживала внутреннюю боль из-за «потери идеализированной матери» и все более поворачивалась к отцу. Образ отца она воспринимала как гарантию более постоянных и предсказуемых отношений, сравнительно с матерью. Она знала, чего от него можно ждать, и получала то тепло, которого не могла добиться от матери. К ней пришли воспоминания, как, укладывая ее спать в детстве, он читал ей стихи на ушко, и это было, как в сказке, – чувство полной защищенности и безопасности.

Теперь ей хотелось знать больше о *матери и отце как о паре*. Последовали сны и фантазии, пронизанные сексуальными сценами, в которых она подвергалась насилию. Ей грозило опасное разрушение, вероятность утраты телесных границ. Это вызывало страх перед необходимостью движения к более глубокому пониманию себя.

В переносе я стала выступать в качестве *мужчины-насильника*. Молчание в ходе анализа стало казаться ей безопаснее, сравнительно с проникающей в глубину интерпретацией.

За ассоциациями Марины я снова могла почувствовать возбужденную маленькую девочку, пытающуюся справиться с фантазиями об отношениях родителей. Когда она наблюдала их ссоры, ей казалось, что отец задушит мать до смерти. И она спасала мать, укладываясь вместе с нею спать, и испытывая чувство удовлетворения оттого, что мать была в ее обладании.

Эти сексуальные фантазии, находившие разрядку в детской мастурбации, совершенно исчезли из ее сознания, когда она вступила в подростковый возраст. Ужас перед «удушающим» отцом уступил место дисморфофобии, наряду с выработкой других способов защиты. Бессознательная фантазия о первичной сцене, как наполненная эротизмом смертельная борьба супругов, нашла выражение в ее аллергических реакциях.

Наша работа продолжалась, и через фантазию, принадлежащую переносу, Марина открыла целый ряд фантазий «обладания». Как уже говорилось выше, у нее было желание соединиться с матерью в страстном слиянии, и даже «проглотить» мать, чтобы заменить ее в глазах отца и, тем самым, стать его единственным сексуальным партнером. (Ее совместный сон с матерью в одной постели также означал прекращение сексуальных отношений родителей, что тешило ее иллюзией стать единственной партнершей отца.) Будучи ребенком, она также мечтала родить себе самой отца, опять же, став единственной его обладательницей. Аналогичная фантазия у нее была связана и со мной, где я выступаю мужчиной, которого она же и родила, и благодаря этому я полностью принадлежу ей, не помышляя более о том, чтобы ее оставить.

Марина с болью говорила о потребности телесного контакта, о том, что мать никогда не обнимала и не целовала ее. Она говорила об этом теперь, потому что раньше эта боль скрывалась в ее замороженной депрессии. Теперь она могла ее переживать, могла о ней говорить, поскольку *интернализировала адекватную материнскую фигуру*. Но все же эта боль вызывала страх перед развитием интимных отношений. И, страстно стремясь к пониманию и интимности, почти с равной силой она страшилась боли, которую интимность будет ей приносить.

Проекция ее полиморфных перверзных и инцестуозных желаний распространялась на всех действующих лиц в том материале, который она приносила на сессию. Ее гомосексуальные переживания имели явное отношение к *эротизированному материнскому переносу*. Она переживала, что ни ее ум, ни ее тело не принадлежат ей самой, находясь в моем обладании. Она вспоминала слова матери: «Твое лицо, твое тело – все мое».

Ей казалось, что она должна быть совершенной в моих глазах, и высота этого притязания заставляла ее чувствовать себя далекой от совершенства, грязной. Такое же расщепление распространялось и на меня: если я не совершенна, то я не могу помочь ей, не могу помочь, будучи «грязной». Эта раздвоенность проявлялась в нескончаемой борьбе ее противоречивых потребностей: сохранить мой «идеальный образ» и создать «плохой идеал».

Поиск теперь шел от одной *фрустрирующей «плохой матери» (плохой материнской груди)* к другой, *идеализированной, материнской груди и, добавлю, в сокрытии (маскировке) пениса*. Она хотела найти символическое слияние с матерью-аналитиком и обнаружить в ней все присущие ей питающие качества.

У нее была серия сновидений, в которых я выступала в образе соломинки, за которую она держится. «Спасающая соломинка» выступала «хранителем жизни», и вместе с тем символом ее *страстного влечения к пенису отца* как части мужской сущности.

С оживлением детских воспоминаний Марина смогла реконструировать эротическое значение первичной сцены, что нашло выражение в ее телесной симптоматике. Тело для нее было подобно неведомому материку, наполненному оральными и анальными монстрами, монстрами матери, отца, ее самой. Мы раскрыли символической смысл пластыря на ее носу, как имеющего отношение к ее бисексуальным фантазиям. По мере того, как мы прорабатывали этот материал, сами по себе стали исчезать ее аллергические реакции. Но потребовался еще не один год, чтобы понять протосимволический смысл, лежащий в самом основании ее теле-

сных феноменов, и распознать ранние формы сексуальности и значение первичной сцены, стоящих за фасадом телесных нарушений.

К концу второго года состояние Марины бесспорно и значительно улучшилось. Исчезла навязчивость ее жалоб, прекратилась сыпь, отреагирование потеряло свою интенсивность, хотя потребность в нем еще сохранялась. Полный отказ с ее стороны от мыслей о пластической операции носа, желание сократить количество принимаемых лекарств, возросшая способность к развитию отношений свидетельствовали о том, что в анализе достаточно эффективно использовалось контейнирование для ее психотических тревог.

Возвращаясь к «родительской функции» аналитического сеттинга, приведем сон Марины, который она увидела на третьем году анализа, сразу после летнего отдыха.

Ей снится, что присутствующий в этом сне мужчина, известный музыкант, совершил суицид, оставив осиротевшей свою двухлетнюю дочку. Малышка спрашивает: «Как мне теперь жить без папы?», и слышит голос, говорящий: «Она справится».

Содержание сна можно воспринимать как отражение ее переживаний, связанных с летним перерывом в сессиях и моей функцией в качестве отца для нее.

Марина вновь была переполнена депрессивными чувствами. Она знала, что в ее отсутствие рядом со мной был *кто-то третий*, из союза с которым она была *исключена*. Только это чувство «исключенности» давало ей ощущение собственного существования, хотя и заставляло ее страдать. Она говорила о *ревности* к другим пациентам, желании «убить» их, дабы обладать мной полностью. В течение многих часов она говорила о своей преданности. Она не только боялась сексуальных отношений с мужчинами, но расценивала их как предательство по отношению ко мне. Бессознательно она хотела возбудить меня и испытывала разочарование, видя, что я не возбуждена. И она вновь *расщепляла меня* на две несовместимые части, одна из которых – *фригидная незматичная ведьма*, другая – *идеализированная персона*.

Суицидальные чувства существенно померкли и контролировались Мариной. Упаковка антидепрессанта хранилась в ванной комнате вместе с номером моего телефона. Она не использовала таблетки, исключая один случай, когда в гневе захватила с собой таблетку, отправляясь на сессию, чтобы «испугать» меня.

Бессознательный гомосексуальный конфликт, невозможность слияния, потеря иллюзий в этом отношении нашли выход в том, что у нее возникло желание разрушить аналитика. В фантазии она разрывала меня

на куски, но образ оставался целым, и я по-прежнему оставалась жива. Это рождало в Марине уверенность, что она могла адресовать мне сколько угодно гнева, и это не обернется для нее угрозой.

Но все эти непонятные чувства вызывали в Марине муки раскаяния. *«Я чувствовала ужас...Я увидела внутри монстра... и он называется вина»*. Она вспомнила слова матери, говорившей ей: *«Когда ты родилась, я умерла»*. Она начала понимать, что *деструктивный, разъедающий ее изнутри садизм не находит выхода иначе, как в разрушении*. И перепугалась. *«Я испугалась, что убиваю ее... Я пыталась представить все так, как и с Вами, вспомнила маму настоящей, живой. Потом снова нападала на нее, и она снова осталась живая»*.

Диалектика перехода

В рамках журнальной статьи невозможно передать все тупики и повороты в ее путешествии по лабиринту переносных отношений. Марина чувствовала удушающую зависимость от меня и желание разорвать наши узы, закончить анализ. Постепенно *образ достойного мужчины*, который мог бы удовлетворить все мои потребности, возник в ее воображении рядом со мной. Ей приятно было думать о *паре*, которую она создала в своем уме. Одновременно с этим она думала и о *родительской паре*, понимая, что все ее страхи близких отношений, привязанности, концентрировались на отношениях отца и матери.

Она чувствовала, что пребывала в каких-то *«переходных пространствах»*. С одной стороны, было соблазнительно вернуться к *иллюзии о слиянии* с родными образами, но вместе с тем она уже чувствовала тягу к *наружной реальности*.

Марина принесла сон о первичной сцене. Следует подчеркнуть, что она уже обрела способность *говорить* о своих бессознательных фантазиях на эту тему, обсуждать их. Итак, сон: *«Я подглядываю за мужчиной и женщиной в глазок. Они обнимаются, целуются, и я знаю, что они знают обо мне, и я присутствую там как будто с разрешения»*. Ассоциации привели ее к тому, что эта пара, возможно, связана со мной и моим «достойным мужчиной», созданным в ее фантазии. *«Но раньше я всегда была за дверью, выброшенная, дверь была захлопнута, – продолжала Марина, – а здесь было разрешение, и я словно погрузилась в любовь вместе с вами»*.

Она была в кризисе, но всегда приходила во время, и это был индикатор ее реальной привязанности ко мне. Она чувствовала, что билась лбом о реальность и плакала над потерями, среди которых ее былое нарциссическое *чувство всемогущества разбилось тоже*. Но теперь она могла *реагировать* на боль, открыто плакать и знать, что, вербализуя свои чув-

ства, встретит во мне понимание и эмпатию. Она обрела, наконец, *собственное Я*, хрупкое, но ее собственное.

В конце третьего года анализа Марина поступила в институт иностранных языков. У нее были высокие достижения в обучении. Постепенно, в течение года, она оставила все лекарства. Рисование стало для нее действительной страстью, перестав служить лишь средством выражения отчаяния, поскольку уже не было единственным каналом ее коммуникации. Навязчивость, которая отличала обычно ее жалобы и отреагирование, полностью исчезла. Очевидной была растущая способность к независимости и новым отношениям.

Я хочу привести *фрагмент сессии на четвертом году анализа*. К этому времени мы уже распознали, что за личиной ее телесной симптоматики, переживаемой ранее как потаенная «вещь в себе», скрывались застарелые архаические чувства и представления о первичной сцене. Но я хочу передать другие, может быть, не столь значимые, однако по-своему важные моменты этой встречи.

Марина пришла на сессию с новой короткой стрижкой, чувствуя себя комфортно и явно зная, что выглядит лучше. Утром однокурсник, взглянув на нее, заметил: «Что случилось, ты выглядишь старше?». Она успокаивала себя, что он так «пошутил», хотя его реплика ее задела. «Я думаю, он хотел сказать, что я выгляжу более взрослой». Я заметила по поводу этого эпизода, что раньше она бы реагировала приступом тревоги в ответ на такие слова. Марина согласилась: «Я бы немедленно побежала к зеркалу изучать свое лицо».

Марина ассоциирует длинные волосы с сексуализированным материнским образом ее предыдущего врача-психиатра. Отрезание волос мы связываем с тревогой, неизменно возникающей накануне выходных, когда аналитик удаляется в круг своих близких, от которого пациентка (как всегда!) *отрезана* как «третий лишний». Но вместе с тем, мы рассматриваем эту перемену в облике Марины и как *шаг развития*, расширение пространства, в котором она могла проработать и развить свою *собственную женскую идентичность*.

Сессия развивается с богатством инфантильных воспоминаний, связанных с исключением ее из родительской пары, но также с актуальным переживанием контакта в переносе с объектом, обладающим родительскими и сексуальными качествами. В этом контексте Марина затрагивает свое чувство одиночества и продолжает: «Я не знаю, почему я теперь думаю о таком монстре... – ну, там, в старом рисунке, который я вчера разорвала и не показала Вам».

Я говорю, что монстр, должно быть, связан с ее агрессивными сексуальными фантазиями, чувством вины и страхом, что я не смогу перенес-

ти их. Марина вспомнила, что когда ей было лет одиннадцать-двенадцать, она вошла в спальню родителей. «Они занимались любовью, было темно, и я чувствовала, что это что-то грязное, отвратительное, что-то насильственное есть в этом... Я помню родимое пятно, которое у меня на бедре... Я почему-то его тоже воспринимала как что-то отвратительное, и хотела срезать его ножницами и заклеить пластырем».

Я делаю связь с тем пластырем, который был у нее на носу на первом году анализа, и снова предполагаю, что за этим образом опять скрывается что-то, чего она не хочет видеть, о чем не хочет знать.

Марина продолжает: «После того, как я видела родителей вместе, я боялась, что отец сделает то же и со мной. Я пыталась избавиться от этих мыслей и говорила себе: «Он ведь мой отец, это против природы». Эта мысль успокаивала меня. ...Я проткнула родимое пятно, там показалась кровь...».

Таким образом, в этой сессии Марина возвращается к тому навязчивому состоянию, которое связано с бессознательными переживаниями сексуального акта родителей. Образ родимого пятна, которое она «протыкает» непосредственно вслед за этой сценой, скорее всего, отсылает нас к ее детородной способности, которую она атакует, выражая тем самым свои гомосексуальные наклонности.

Вслед за данным эпизодом на передний план наших отношений неожиданно вышли глубокие бессознательные содержания, проявившиеся в столь интенсивной форме, что, по моим представлениям, они должны были возыметь крепкий *реструктурирующий эффект*. Это – болезненный материал из серии снов, где Марина последовательно переживала смерть отца, которого видела в гробу, а также смерть матери. В одном из снов я прощалась с ней, говоря, что она никогда более не увидит меня. Поднимая на поверхность глубоко затопленные эротические желания детства, сновидения давали толчок их последующей сознательной вербализации и открывали путь к их интеграции в более гармоничное, взрослое Собственное Я.

Отношения Марины со значимыми другими углубились. Она теперь лучше понимала своих мать и отца, стала рассказывать об их детстве, их взаимоотношениях с собственными родителями. В переносных отношениях эти перемены выразились в том, что, *приняв собственную реальность, она приняла и наше раздельное существование*.

Во время летнего перерыва Марина работала в Международном центре для подростков в качестве переводчика. Это была ее частичная идентификация со мной и также указание, что между нами сформировались позитивные эмоциональные узы, что сделало для нее возможным принять мои интерпретации и идентификации.

Последний год анализа отмечен устойчивым развитием интегративного процесса. Она развила впечатляющую способность изучать и вы-

полнять аккуратное самонаблюдение, что вело к возрастанию интеграции Эго в контексте более нормальной жизни, улучшения взаимоотношений с другими и сексуальной зрелости.

У Марины, наконец, появился молодой человек, с которым ее связывают первые интимные отношения, и это значительно обогатило ее жизнь. Она стала способна к отношениям с Третьим. Третьим, который отпустил ее к Другому.

ЛИТЕРАТУРА

- Грин А.* Мертвая мать // Французская психоаналитическая школа / Под ред. А.Жибо, А.В.Россохина. СПб.: Питер, 2005. С. 333–361.
- Рекамье П.* Страдать и выживать в парадоксах // Французская психоаналитическая школа / Под ред. А.Жибо, А.В.Россохина. СПб.: Питер, 2005. С. 544–555.
- Фенихель О.* Психоаналитическая теория неврозов / Пер. с англ. М.: Академический проект, 2004.
- Фрейд З.* Печаль и меланхолия // Основные психологические теории в психоанализе. М.; Пб., 1923. С. 174–186.
- Хиншевулд Р.* Словарь кляйнианского психоанализа. М.: Когито-Центр, 2007.
- Эльячэф К., Эйниш Н.* Дочки-матери. Третий лишний? / Пер. с франц. М.: Кста-ти; Ин-т общегуманитарных исследований, 2006.
- Blos P.* (1967) The second individuation process of adolescence // *Psychoanal. Study Child.* 22.
- Campbell D.* The role of the father in a pre-suicide state // Perelberg R.J. (Ed.) *Psychoanalytic understanding of violence and suicide.* London: Routledge, 1999. P. 75–86.
- Chasseguet-Smirgel J.* The body as mirror of the world // Free Association Books, 2005.
- Haim A.* Adolescent suicide. Tavistok: London, 1974.
- Hurry A.* «My ambition is to be dead». Part II and III // *J. Child Psychotherapy.* 1978. V. 4. P. 69–85.
- Kohon G.* The Greening of psychoanalysis: Andre Green in dialogues with Gregorio Kohon // Kohon G. (Ed.) *The dead mother. The work of Andre Green.* London: Routledge, 2001. С. 10–58.
- Laufer M.* The analysis of an adolescent at risk // *The analyst and the adolescent at work.* (Ed. M.Harley). New York: Quadrangle, 1974. P. 269–296.
- Laufer M., Laufer M.E.* Adolescence and developmental breakdown. A psychoanalytic view. Yale University Press, 1984.
- Ogden T.* Analysing forms of aliveness and deadness of the transference-countertransference // Kohon G. (Ed.) *The dead mother. The work of Andre Green.* London: Routledge, 2001. С. 128–148.
- Orgel S.* (1974) Fusion with the victim and suicide // *Int. J. Psychoan.* 55: 531–538.
- Sayers J.* Boy crazy. Remembering adolescence, therapies and dreams. London & New York, 1998.